

и ценности моей жизни

Александр ГЕЛЬМАН

Я не ученым и не изучал специально эту тему — детство и смерть. Но много думал об этом. У меня было множество вопросов к самому себе, и я до сих пор не на все эти вопросы ответил. Но все же кое в чем я, надеюсь, разобрался.

Что такое для меня война, гетто, что такое для меня быть евреем? Что такое для меня моя биография, моя жизнь, моя душа, мое сознание, мое мышление? Это прежде всего взаимоотношения моей детской души со смертью. До войны я видел только одну смерть, одного мертвого человека. Потом за одну зиму я увидел десятки, сотни мертвых людей, в том числе мою маму, моего брата, мою бабушку, мою тетю и ее мужа и их сына, моего дядю и его жену и их сына... Смерть не просто присутствовала в моем детстве — смерть гуляла по моему детству как полная хозяйка и делала с моей душой все, что ей было угодно, я даже толком не знаю и никогда не узнаю, что она с ней сделала.

Конечно, это не только моя судьба, это была судьба многих детей, которые, как и я, попали в гетто со своими родителями и маленькими детьми пережили смерть своих родителей.

Когда человек рождается, он до какого-то времени, первые годы, не знает ничего о смерти, смерти для него просто нет. Но наступает день первой встречи со смертью, когда ребенок видит первого в своей жизни мертвого человека. Я, например, первого мертвого человека увидел в неполных семь лет, осенью 1940 года. Умер наш сосед, пожилой мужчина, всем известный и уважаемый всеми железнодорожный кассир. Он был русский человек, но свободно изъяснялся и на молдавском, и на еврейском, то есть на всех языках обитателей Дондошан. Так называлась и называется до сих пор небольшая станция на севере Бессарабии, откуда я родом. А Бессарабия — это та часть Румынии, которая в том же сороковом году, но только на три месяца раньше, чем умер наш сосед, была присоединена к СССР в соответствии с секретным соглашением, подписанным Риббентропом и Молотовым. В Дондошанах в ту пору уже стоял полк Красной армии, чей оркестр, между прочим, играл на похоронах.

Это были незабываемые похороны. День выдался солнечный, яркий. Покойник лежал в большом просторном гробу посередине двора. Проводить его в последний путь пришло все местечко, все нации. Я со страхом смотрел на мертвое лицо человека, которого еще три дня назад видел живым и веселым. Он всегда меня гладил по голове большой теплой рукой, которая сейчас — бледная, белая — покоилась без движения. В моих ушах еще звучал его голос, а мои глаза видели плотно сомкнутые уста, навсегда закрытый рот. Я тогда еще не умел выражать свои сложные чувства словами, но, вспоминая сейчас тот день, я бы так сформулировал впечатление от первой встречи со смертью: я ощутил, я почувствовал, что ни между чем на свете нет такой глубокой, такой резкой разницы, такой пропасти, как между живым и мертвым человеком. Я почувствовал тогда эту страшную разницу — и ужаснулся. Разве мог я тогда предположить, что через год, даже меньше, мои глаза научатся смотреть на мертвые лица почти так же спокойно, как на живые?

Смена власти в Дондошанах произошла ночью: легли спать с русскими — проснулись с немцами. Да еще с румынами, потому что одновременно вернулась и прежняя румынская власть. Командантов было два, но последнее слово по всем вопросам было, конечно, за немцем. Поэтому, когда немецкий командант приказал собрать всех евреев, румынский командант тут же приказ исполнил. Когда все были собраны, а надо сказать, ни один еврей не спрятался, не удрал, — нас выстроили в колонну по четыре человека, посчитали, дали одну повлуду для старых и больных, на которую удалось посадить и нашу бабу Цюпу, едва державшуюся на ногах, и повели, потапливая неизвестно куда. В пути выяснилось, что ведут нас в еврейское гетто куда-то на Украину. Я не знаю, сколько дней или может быть, недель длилось это скорбное путешествие. Помню, однако, что были не только останки на ночь, но и привалы на три-четыре дня и больше. После войны я никогда не пытался получить какую-либо дополнительную



Детство и смерть

информацию об этом «путешествии», никогда не уточнял маршрут, по которому нас вели, или другие детали. Даже отца, пока он был жив, не спрашивал. Я не хочу об этом времени знать больше, чем я знаю, меня не интересуют новые подробности, с меня достаточно тех, которые сами собой запечатлелись в моей памяти.

Мы шли, шли, останавливались, и снова нас поднимали и гнали дальше, пока мы не оказались в городе Бершадь Винницкой области, на Украине. Помню, что уже начались заморозки, когда мы попали в Бершадь: первые ночи мы провели на четырехэтажном здании на ледяном полу в каком-то загаженном помещении с высокими потолками — возможно, это была бывшая синагога. Начинаясь самая холодная, самая мерзкая, самая жуткая зима моей жизни — зима 1941/42 года, зима, после которой из четырнадцати человек нашей родни в живых осталось двое. Включая меня.

Начались другие похороны, другая смерть. Первым умер Вал, Володя. Он родился перед самым началом войны, мама кормила его грудью. На третьем или четвертом переходе у нее кончилось молоко, мальчик умер. Он умер в пути, мама донесла его мертвым до очередного привала, который пришлось ехать на правый (румынский) берег Днестра. Помню, отец не мог найти лопату, потому нашел лопату без ручки, начал копать, и в это время кто-то прибежал и сообщил, что только что кончилась женщина, мать наших знакомых. Было решено похоро-

нить их вместе. Могилу выкопали неглубоко, недалеко от берега, сначала опустили женщину — в чем была, а сверху, ей на грудь, положили завернутого в какую-то тряпку моего братишку. И засыпали. И пошли дальше.

А через несколько дней на очередном привале, в городе, который назывался, если не ошибаюсь, Ямполь, уже на Украине, мы оставили лежать на земле умирающую, но еще живую бабушку Цюпу. Она лежала неподвижно, беззвучно, с открытыми глазами. Ни остаться с ней, ни нести ее на руках (подводки уже не было) не разрешали. Охранники предложили два варианта: оставить лежать или пристрелить. Мама вытерла платочком грязь с морщинистого лица бабушки Цюпы, поцеловала ее, и мы ушли...

Это было до Бершади. В Бершадь еврейское гетто занимало половину города — между берегом реки (один из притоков Буга, названия не помню) и магистральным шоссе. Здесь содержались местные, бершальские евреи, евреи из близлежащих городов и местечек, а также евреи из Бессарабии, Буковины, Западной Белоруссии. Все помещения гетто были буквально забиты евреями, в основном большими еврейскими семьями, которые старались держаться вместе. Наша семья и еще две семьи из Буковины попали в это гетто по полуподвалу, располагались мы частью на цементном полу, частью на наскоро сколоченных нарах. По мере вымирания одних — другие, пока живые, перебирались с пола на нары. Об отплевании даже речи не было, согрелись собственным дыханием да соприкосновениями за-

вернутых в тряпье, немых, голых, зашвырнутых тел. А морозы в ту первую зиму войны были такие, что даже толстые кирпичные стены промерзали насквозь.

Одной из первых в этом полуподвале умерла моя мама. Ей было тогда ровно в два раза меньше, чем мне сейчас, — тридцать один год. Я лежал на нарах рядом с ее мертвым телом, плечом к плечу, целую неделю. Я спал рядом, а что-то ел рядом с трупом матери. Пять дней. Или четыре дня. Или шесть дней. Как она лежала рядом со мной живой, так она продолжала лежать мертвая. Первую ночь она была еще теплая, я ее трогал. Потом она стала холодной, я перестал ее трогать. Пока не приехали и не убрали, но уже не только ее, а еще нескольких человек, успешных умереть за эту неделю в нашем полуподвале. Они убрали трупы иногда раз в неделю, иногда два раза в неделю — это зависело не от количества трупов, а неизвестно от чего.

Никого из моих близких не убили — они сами поумирали. От голода, от холода, от жуткой обстановки, от душевной боли, от безнадёжности. От всего вместе.

К весне во многих помещениях стало просторно. Некоторые и вовсе опустели и так и оставались пустыми все три года, пока нас там держали: по-видимому, к тому времени в Европе больше не было депортированных, вольных евреев.

А со мной было все в порядке. Я все эти годы там, в гетто, непрерывно во что-то играл, особенно много и усердно, с вхождением, играл в войну. Я все время жил в своем воображении, а в реке в этой жуткой реальности. Моя голова

непрерывно рождала воображаемые события, ситуации, я участвовал в крупных сражениях, причем в качестве очень большого начальника, генерала всех генералов. Даже эта жуть не могла погасить, уничтожить мое кипучее воображение. Я до сих пор не знаю, о чем это свидетельствует, — о чем-то хорошем или о чем-то ужасном. Я боюсь об этом думать — похоже, я был не совсем нормальным, и эта непрерывная игра, непрерывное состояние возбужденного воображения и было, вероятно, моим сумасшествием. Я сошел с ума в восемь лет.

Наш полуподвал находился посередине — между рекой и шоссе. «Штаб фронта» оборудовал в виде землянки возле реки, а в разведку отправлялся к шоссе: там всегда что-то двигалось военное — автоколонны с немецкими или румынскими солдатами, артиллерия, танки.

Сначала все шло на восток, потом — на запад. Это были настоящие немецкие части, но под моим личным командованием. Я включал в свои игры реальные военные силы, которые двигались по шоссе, я их поворачивал в нужную мне сторону, они безоговорочно выполняли любые мои команды. В моей войне могло быть все что угодно: например, украинские партизаны могли биться под началом немецких офицеров против румынских жандармов. Я бывал по очереди то немцем, то русским, то румынским генералом, а когда по шоссе прошла итальянская часть, тут же сделался итальянским генералом. Про реальную войну я мало что

знал и знать не хотел — меня интересовала и увлекала лишь моя воображаемая война.

Жизнь довоенная и жизнь в гетто были настолько две разные, две чужие, чуждые друг другу жизни, что они не могли обе поместиться в моей душе. Поэтому, попав в гетто, я свою довоенную жизнь как-то враз забыл, она выпала из моей памяти, как из кармана, — и, казалось, навсегда. Мне ни разу даже не снилась довоенная жизнь. Единственное, что из той жизни перешло в эту, — игра, дух игры. Я увлеченно, непрерывно во что-то играл. Оказалось, что для этого совсем необязательно бегать, прыгать и орать, как это бывало в Дондошанах. Я научился играть молчком, про себя.

Понимал ли я, что я еврей, что здесь все евреи и поэтому мы наказаны? Да, понимал. Но в играх я переставал быть евреем, еврей в моих играх не участвовал, в моих войнах не служил, в моем штабе не было ни одного еврея. Евреем я становился только в паузах между сражениями, когда я на время выхолил из роли, но эти паузы длились не часто и очень ненадолго.

Я испытывал сложные чувства, вспоминал сегодня мои игры в Бершади. Хотя понимаю, что именно они меня спасли. И если я сегодня более или менее нормальный человек, во всяком случае, не совсем, не полностью, не до конца сумасшедший, то это только благодаря тому, что тогда, в гетто, я непрерывно, как заведенный, как безумец, играл, играл — все три года непрерывно играл, и потом играл еще долго после возвращения, после войны...

Психика человека очень пластична, податлива, и поэтому человек может приспособиться к любой ситуации и превратиться во что угодно, в кого угодно. Страшно подумать, во что может превратиться человек, причем запросто. Нужны особые меры предосторожности, учитывая эту жуткую пластичность, эту кошмарную эластичность человеческой психики.

А возвращался я из гетто не как-нибудь, а на боевом советском танке. Этот танк одним из первых ворвался в Бершадь. Вдруг он остановился, свалилась гусеница. Осталя изможденных людей мгновенно обустила машину. Из башни высунулся молодой небритый танкист, заулыбался. «Ну что, живы, живы?» — громко, простодушно спросил он и прыгнул вниз посмотреть, что случилось. На него не обиделись — его тискали, обнимали, жали руки, а он смеялся. Часа два он провозился с ремонтом, я помогал. Он взял меня с собой.

Мы двинулись вместе с фронтом. Я не помню, какой это был фронт, кажется 2-й Украинский, которым, если не ошибаюсь, командовал маршал Конев. А маршалом Коневым командовал я...

Когда мы пересекли Днестр, танкист, поймав на карте Дондошаны, огорченно pokrutil голову — оказалось, они лежали в стороне от его боевого маршрута. «Не получается донести тебя до места», — сказал он, и я уже собрался спуститься на землю, как из вурт махнул отчаянной рукой, нырнул вниз и, сделав на бешеной скорости крюк километров на тридцать, высадил меня на окраине родного местечка.

Я вернулся в Дондошаны вооруженный до зубов. Я привез два пистолета — русский и немецкий, кинжальный нож, штук двадцать пулеметных патронов, две ручные гранаты. Я не узнал мою милую родину, с трудом нашел наш дом, который теперь показался мне крошечным, игрушечным. Меня окликнула соседская девочка Клава Руссу — она была так рада, а я ни разу ее за эти годы не вспомнил, забыл, что она есть на свете. Мне было одиннадцать лет, я не умел ни читать, ни писать.

Взрослые, которые развязали ту войну, взрослые, которые сегодня развязывают бесчисленные так называемые малые войны, никогда не думают о детях. У них у самих имеются какие-то пусть абсурдные, илиотские, но цели. По крайней мере, им кажется, что они понимают, во имя чего они посылают людей убивать или сами убивают. Они помнят какое-то прошлое, им мерещится какое-то будущее. Но у детей во время войн все это отсутствует. Детям даже казаться ничего не может. Я, например, совершенно не понимал, кто с кем и зачем воюет. Я не имел понятия о том, что такое фашизм, социализм, кто прав или не прав — Сталин или Гитлер. Я даже не могу толком сейчас вспомнить, знал ли я эти имена. По-видимому, знал, но это не имело для меня никакого значения. Я совершенно отчетливо помню, что, находясь в гетто, я никакой другой жизни, кроме той, что там была, не знал, не помнил и не ждал. Я был уверен, что так будет всегда, вечно. Не надо забывать, что по сравнению с довоенной жизнью, во всяком случае моей доондошанской довоенной жизнью, война была необыкновенно зрелищной, интересной, многоплановой: шли танки, машины, шли войска — сначала туда, потом обратно. Все вокруг шумело, гудело, грохотало. Достать гранату или пистолет не составляло никакого труда, даже в условиях гетто у меня было несколько патронов от пулемета и затвор от винтовки, правда, без самой винтовки. Мы были детьми — нам нужно было что-то интересное, опасное, чтоб дух захватывало.

Если разобраться, война для детей — это все равно что война для умалишенных, для юродивых. Они точно так же ничего не понимают: лется кровь, а они усмеваются, ругаются дома, гибнут величайшие ценности, а они в восторге — здорово как! Я еще не понимал, что такое смерть, а уже видел десятки, сотни мертвых тел, фактически я три года жил в морге. Я скажу страшную вещь: если вы, взрослые, решите начать войну, поубивайте сначала всех детей. Потому что дети, которые останутся живыми после войны, будут сумасшедшими, они будут уродами. Потому что невозможно остаться, сохраниться нормальным человеком, если в то время, когда ты еще не понимал, что такое смерть, Библию, Тору в руках не держал, ты ел, чесался, сморкался рядом с телом мертвой матери, а чтобы выйти пописать за домом, должен был переступить через несколько трупов людей, которых ты день назад или час назад еще знал живыми.

В нормальных, мирных условиях дети осознают неизбежность смерти постепенно, медленно, в течение ряда лет. Инстинктивно они стремятся пройти этот важнейший, опаснейший рубеж, это испытание как можно более шалаше. Душа ребенка осторожно, трепетно нащупывает путь достойной смирности со своей смертной судьбой. Эти процессы нельзя ускорять, интенсифицировать, дилематизировать. В этом деле огромное значение имеют мягкость, плавность толчков, ударов, которые получают в определенной последовательности детская душа, прежде чем она освоится с мыслью о смерти. Здесь менять, ломать ритмы опасно, тем более так нагло и грубо, как это делает любая война.

Как писатель, проживший всю жизнь в СССР, я хорошо знаю, что такое политическая цензура, с которой по мере сил боролся многие годы. Но существует и другая цензура — биологическая, когда сам организм — мускулы, мозг, нейроны, сама кровь препятствуют тому, чтобы человек узнал всю правду о себе. С этой цензурой надо бороться очень осторожно. Возможно, поэтому я и остерегаюсь разбираться до конца во всем, что произошло со мной тогда, в гетто. Я боюсь отмены биологической цензуры. Не исключено, что она скрывает от нас то, что непереносимо, что может убить.

Москва, 1995 г.



Главный редактор номера: Виталий ЯРОШЕВСКИЙ
Газета зарегистрирована в Мининформпечати
РФ 20 августа 1991 г. Рег. № 1054
© Общая газета. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией, ссылка на «ОГ» обязательна
Правовое обслуживание газеты осуществляет Адвокатское Бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» МГКА

Дизайн-макет: Семен ЛЕВИН, Борис МИРОШИН
Арт-директор: Андрей МАЛЬКОВ
Отдел рекламы: Тел.: 915-75-23. Т/ф: 915-26-06, e-mail: ivov@og.ru
Отдел маркетинга: Тел.: 915-53-81
Связи с общественностью: Валерия ГАЛЛАЙ, Зоя ВОЛЛОВЕЦ
Тел.: 915-70-40, e-mail: pr@og.ru

Верстка компьютерного центра «Общая газета»
Технический директор Валерий МАКАРОВ
С этим знаком, а также в рамках публикации пресс-релизов, информационных-коммуникационных материалов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных сообщений.

Отдел распространения: Александр РЕБРИК. Тел.: 915-53-89
Общий тираж «ОГ» — 22182 экз. (региональный — 16500 экз.)

Цена свободная
Розничное распространение в Московском метрополитене
Группа компаний «ПАБЛИК ПРЕСС»
в С.-Петербургском метрополитене
ООО «МЕТРОПРЕСС»

Отпечатано в ОАО ПО «Пресса-1»,
125865, ГСП, Москва-137, ул. Правды, 24
Номер подписан в печать 31.01.2001 г.
Заказ 191.

Наш подписной индекс: 32138

Адрес редакции: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 1. Справки по телефону: 915-22-88; факс 915-51-71, e-mail: secreta@og.ru. Электронная версия «ОГ» в Internet: www.og.ru (а также в базах данных www.park.ru; www.nns.ru; www.integrum.ru; www.russianstory.com). Адрес «Гостиницы «ОГ»: 121151, Москва, Кутузовский пр., д. 22

Редактор: Дмитрий ДОКУЧАЕВ, Владимир КИСЕЛЕВ, Анатолий КОСТЮКОВ, Юрий ПАТРИН, Елена РЫКОВЦЕВА, Мария СЕДЫХ, Юрий СОЛОМОНОВ, Егор ЯКОВЛЕВ, Виталий ЯРОШЕВСКИЙ. Дирекция выпуска: Елена БОГОМОЛОВА, Евгений СЕМЕНОВ, Светлана КАРТАШЕВА (структура).
Руководители направлений: Ирина ДЕМЕТЬЕВА (мнения), Елена КОКУРИНА (культура), Наталья КРАМИНОВА (стиль), Илья МЕДОВОЙ (информационное обеспечение), Игорь НАИДЕНОВ (право), Марина ТОКАРЕВА (редактор «ОГ-Петербург»), Елена УСОВА (информационное обеспечение), Дмитрий ФИЛИПЧЕНКО (спорт), Борис ЮНАНОВ (международная жизнь), Обозреватели: Бахтияр АХМЕДХАНОВ, Олег ВЛАДЬКИН, Василий ГОЛОВАНОВ, Елена ДЖУГУТ, Виктор ПИТОВКИН, Ирина ПЕТРОВСКАЯ, Альберт ПЛУТНИК, Юрий РОСТ, Борис СИНЯВСКИЙ, Елена ТОКАРЕВА, Юна ЧУПРИНИНА.

Представители за рубежом: Эльмира АХУНДОВА (Баку), Сергей БОРИСОВ (Альма-Ата), Павел БЫКОВСКИЙ, Лариса ДЯЧУК (Киев), Наталья ЛОПАТИНСКАЯ (Вильнюс), Федор РЮРИКОВ (Прага), Алексей СЛАВИН (Берлин), Армен ТИГРАНЯН (Ереван), Борис ШЕСТАКОВ (Будапешт), Исполнительный директор Наталья КЛОЧКО. Финансовый директор Елена ПАНОВА. Директор по развитию Елена РЫМКО.